

Зврк

Отель стоял в прозрачной березовой роще. Южная весна походила на северную, и ветерок играл почти пустыми ветками. В березках мочился юноша в трениках.

– Лель, – решил я, входя в двухэтажный вестибюль.

Писатели делили гостиницу с хоккеистами, собравшимися в Новый Сад на чемпионат мира.

– *Tere-tere*, – закричал я парням в синих майках с надписью «EESTI».

– Гляди, Лёха, – сказал хоккеист такому же белокрысому приятелю, – эстонец.

Другой изюминкой отеля был ресторан «Тито» с поясным портретом вождя, выполненным в дерзкой манере соцреалистического сезаннизма. Среди мемориальных вещей я заметил окурок толстой сигары. Однажды Тито встречал тут Новый год. На память о торжестве остался аутентичный сервис.

– Возможно, этой ложкой, – сказал пожилой официант, принеся суп, – ел Тито.

– Возможно, этой вилок, – продолжил он за вторым, – ел Тито.

– Возможно, этим ножом...

Я вздрогнул, потому что в моем детстве Тито обычно называли «кровавой собакой», и прервал старика вопросом:

– А кто Тито был по национальности?

– Маршалом, – отрезал официант, и я остался без кофе.

Даже с ним здесь непросто.

– Знаете, – спросили тем же вечером писатели, – как по-нашему будет кофе?

– Кофе? – рискнул я.

– Кафа.

– А по-хорватски – кава, – добавил один писатель.

– По-боснийски – кахва, – заметил другой.

– По-македонски – кафе, – вставил третий.

– По-черногорски – эспрессо, – заключил Горан Петрович.

Над Черногорией здесь принято посмеиваться, потому что она поторопилась найти себе отдельное место под солнцем, да еще у моря. Поводом к отделению послужили три уникальные буквы, на которые черногорский язык богаче сербского. Проблема в том, что букв этих никто не знал, и русские, открывшие и купившую эту чудную страну, привезли их с собой.

Включив в номере телевизор, я услышал голос диктора: «Наличие кэша, без наличия кэша, наличие без кэша».

– Сербский, – решил было я, но потом заметил в углу буквы «РТВ».

Русскому, впрочем, говорить по-сербски просто, но долго. Если перечислить все синонимы, то рано или поздно один из них окажется сербским словом.

Утром я нашел среди мраморных колонн газетный киоск и спросил у приветливой продавщицы:

– У вас есть пресса на английском?

– Конечно, – удивилась она, – скоро завезут.

– К вечеру?

– К лету.

Оставшись без иностранных новостей, я ограничился местными. В этих краях только римских императоров родилось шестнадцать душ.

Обычно, попав в незнакомый город, я описываю архитектурные достопримечательности, делая это по той же причине, по которой Швейк советовал фотографировать мосты и вокзалы

– они не двигаются. С людьми сложнее, если они не славяне. С ними мы быстро находим общий язык, потому что он действительно общий.

– Чего у нас больше всего? – спросила меня дама с радио.

– Того же, – честно ответил я, – что и у нас: эмоций.

– Это комплимент?

– Скорее – судьба.

Между тем литературный фестиваль вошел в силу, и меня представили переводчице.

– Мелина, – сказала она.

– Меркури? – вылетело из меня, но я оказался прав, потому что отец назвал дочку греческим именем из любви к актрисе безмерной красоты и радикальных убеждений.

Мы подружились по-славянски стремительно. Душа Мелины не помещалась в худом теле и была вся нараспашку. Тем более что она пригласила в гости, а чужое жильё, как подробно демонстрировал Хичкок, – собрание бесспорных улик, и я не стеснялся оглядываться. На балконе стояли пара лыж и два велосипеда. В передней висела гитара, на плите – чайник на одну чашку. Книг было умеренно, компьютер – переносной. Остальное место занимала раскрашенная по-детски яркими красками карта мира. Туда явно хотелось.

Литературный фестиваль открылся в старинном особняке. Раньше здесь располагался югославский КГБ. За стеной по-прежнему дико кричали, но из динамиков и под гитару.

Когда дело дошло до официальных речей, выяснилось, что Мелина переводила хорошо, но редко.

– Этого, – говорила она, – тебе знать незачем.

– А этого, – послушав еще немного, добавила она, – тем более.

Меня подвели к высокому и спортивному мэру.

– Мне нравится, – льстиво начал я, – ваш город...

– Мне тоже, – свысока ответил он.

Но тут нас, к счастью, прервала музыка. Ударила арфа: Гайдн, Эллингтон, что-то батальное. Одета лилией девушка не жалела струн, но скоро одну музу сменила другая. Начались чтения. Сперва в переводе на сербский звучала венгерская проза, потом – словенская, затем – македонская. За столом, впрочем, выяснилось, что все авторы учились на одном курсе, играли в одной рок-группе и вместе издавали стенгазету «Знак» – про Лотмана. Поэтому мне удалось без труда вклиниться в беседу.

– Живеле! – закричал я, и все подняли «фракличи», филигранные рюмки-бутылки с ракией. Как русскому, мне ее наливали в стакан.

Чокнувшись с соседом, я обнаружил в нем тезку. Чтобы не путаться, мы решили звать его Александром Македонским. Он не спорил и рисовал на салфетке карту родовых владений нашего эпонима, которые упорно не попадали в Грецию. Моего собеседника это радовало, греков бесило, из-за чего Македонию не брали в Европу.

– Реакционеры, – кричал он, – они не знают новой географии. С падением Берлинской стены исчез целый край света. Западная Европа теперь кончается Белоруссией, с которой начинается Западная Азия.

– А сейчас мы – где? – не сдержал я любопытства.

– Западные Балканы, – решительно вмешался другой писатель.

– Восточное Средиземноморье, – поправил его третий.

– Один хрен, – резюмировал четвертый, который лучше всех говорил по-русски.

Обшита дубом гимназия, самая старая в Сербии, больше походила на Оксфорд, чем на среднюю школу. В такой мог учиться Булгаков и учить «человек в футляре». На стене актового зала висел Карагеоргиевич в алых галифе. За спиной с темного портрета на меня глядел первый

попечитель – Сава Вукович в меховом жупане. Гимназии было триста лет, ее зданию – двести, ученикам – восемнадцать.

– Какова цель вашего творчества? – спросили они.

Первые десять минут коллега слева, усатый автор сенсационного романа «Лесбиянка, погруженная в Пруста», отвечал на вопрос сидя. Следующие пятнадцать – стоя. Наконец он сел, но за рояль, и угомонился только тогда, когда у него отобрали микрофон, чтобы сунуть его мне.

– Нет у меня цели, – горько признался я, – а у творчества и подавно.

Молодежь разразилась овациями – им надоело сидеть взаперти. Выбравшись во двор, мы разболтались с гимназистками. Они учили русский, чтобы заработать денег, и английский – чтобы выйти замуж.

– За кого?

– За русских, – непонятно ответили они.

Но тут я вспомнил, что в России молодежь тоже учит английский, и решил, что они объяснятся.

– Что самое трудное в русском языке? – сменил я тему.

– Мягкий знак.

– И, несмотря на него, вы взялись за наш язык. Почему?

– Толстой, Достоевский, Пушкин.

– «Газпром», – перевела Мелина.

Обедать нас привезли в дунайский ресторан «Салаш».

– «Шалаш», – перевела Мелина, – как у Ленина.

Кормили, однако, лучше и можно было покататься – на лодке или верхом.

– Правда ли, что сербы не любят рыбу, – спросил я у автора романов в стиле магического реализма, – потому что в Дунае живут злые духи вилы?

– Нет, – сказал Горан, – неправда, просто смудж на базаре – десять евро с костями.

Смудж на поверку оказался судаком, к тому же очень вкусным. Мы ели его на берегу разлившейся реки. Под столом прыгали лягушки. Вдалеке на мелкой волне качался сторожевой катер дунайского военного флота. Рядом мирно стоял теплоход «Измаил» под жовтно-блакитным флагом. Мимо плыла подозрительная коряга.

– Из Венгрии, – присмотревшись, заметил Горан.

Между переменами я выскочил из-за стола, чтобы погладить лошадь.

– Зврк, – заметил на мой счет писатель слева.

– Зврк, – согласился с ним писатель справа.

– Зврк, – закивали остальные, включая лошадь.

– Что такое «зврк»? – не выдержал я.

– Юла, непоседа.

Спорить не приходилось, потому что я всегда первым и влезая и вылезая из автобуса, не переставая задавать вопросы. Меня, впрочем, тоже спрашивали, но только журналисты, которым поручили заполнить страницу между политикой и спортом. Каждый из них начинал с того, что обещал задать вопрос, который до сих пор никому не приходил в голову. Звучал он всегда одинаково:

– Почему вы уехали в Америку? За свободой?

– Угу, – отвечал я.

Мелина переводила дословно, но репортер все равно вдохновенно строчил, надолго оставив меня в покое.

На прощание Мелина привела меня в самую старую часть города.

– Моя любимая улица, – сказала она, заводя в заросший травой тупичок.

У тропинки стоял беленький домик. В таком мог бы жить гном. В сумерках шмыгали мелкие кошки, сбежавшие из турецкой сказки. За забором уже цвела толстая сирень.

– По-нашему – йергован, – объяснила Мелина.

– Похоже, – согласился я от благодущия.

В этих краях оно меня редко покидает: не Восток, но и не Запад же, не дома, но и не среди чужих. Такое бывает со слишком прозрачным стеклом: кажется, что его нету, а оно есть, как выяснил один мой знакомый, пройдя из гостиной в сад через стеклянную дверь. К столу его вывели ни голым, ни одетым – в бинтах.

Романом с Сербией судьба что-то говорит мне, но я никак не различу что. Поэтому в балканских поездках мне мнится какая-то потусторонняя подсказка. Может, опечатка в адресе?

В самолете я пристегнул ремни – «ради безбедности лета», как уверяла меня последняя табличка на сербском, и уставился в иллюминатор. Страны мелькали по-европейски быстро. Вскоре под крылом доверчиво расстелилась плоская Голландия – с воскресным футболом и бесконечными грядками тюльпанов. Они были разноцветными, как полоски на незнакомом флаге еще не существующей державы.